

Григорий Померанц

Послесловие к трагедии

Часть 1.

Книга протоиерея Георгия Митрофанова¹ стоит того, чтобы ее прочесть, продумать... Интересны собранные им данные о позиции церкви во временно оккупированных областях. Радует призыв покаяться в церковном конформизме двадцатых и последующих годов. Однако слово конформизм не всегда употребляется к месту, например, к генералу Брусилову, за его призыв поддержать Красную армию в 1920 г. Врангель тогда еще оборонял Крым – напоминает нам о. Георгий. Но в то время, когда опубликован был призыв Брусилова, Врангель не оборонялся, а наступал, используя переброску советских войск на Запад. Именно там неожиданно возникла серьезная угроза – со стороны Польши. Дождавшись поражения основных сил белой армии, Пилсудский двинул войска на Восток, захватил Киев и явно собирался присоединить к Речи Посполитой всю Правобережную Украину.

Именно тогда, во имя России единой и неделимой, Брусилов призвал отбить у поляков «мать городов русских» (он, конечно, не предвидел, что Украина сама по себе станет заграницей). Врангелем Советы занялись позже, когда Пилсудский был отброшен и с Польшей заключен мир. В событиях осени 1920 года Брусилов никакого участия не принимал и до конца своей жизни оставался в тени.

Врангеля добивал деятель, выпавший из поля зрения о. Георгия: Нестор Махно. Учитывая настроения крестьян, он согласился допустить в часть своих отрядов комиссаров, назвать это дивизией, и махновцы, форсировав Сиваши, с хода взяли врангелевскую столицу, Симферополь. После этого Врангелю оставалось только дать приказ отходить к гаваням и садиться на корабли. Из официальной советской истории рейд махновских тачанок выпал. Только в

¹ Георгий Митрофанов. Трагедия России. «Запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике. – С.-Петербург, Моби Дик. – 2009.

повести (если не ошибаюсь, Малышкина) описан их подвиг, со сменой всех географических терминов, без малейшего упоминания Крыма. Официальную легенду о штурме Перекопа нельзя было трогать. Любопытно, что агиография о. Георгия совпадает по своей структуре с идеографией советских историков. Крестьянская вольница, восставшая и против белых, и против красных, не укладывалась в схему. Только частушка от нее осталась:

Эх, яблочко, цвета ясного,
Бей слева белого, справа красного!

Агиографическое мышление с его резким делением на сияющее добро и смердящее зло окрашивает и отношение о. Георгия к попыткам белой эмиграции понять свои политические ошибки. Мысленно канонизируя белое движение, о. Георгий не признает за ним никаких ошибок. Но как быть с фактами? Неприятные факты просто исчезают вместе с Махно.

Трезвый анализ я нашел у крестьянского сына, генерала Григоренко. Он рассказывает, как вели себя дроздовцы на своем пути с румынского фронта на Дон, как они наспех расстреливали нескольких местных жителей, избранных в совет, а затем шли дальше. Так же беспристрастно описывается красный террор, с массовыми расстрелами заложников (такими средствами Советы разоружили крестьян, заставили их сдать припрятанное оружие). Затем Петр Григорьевич задает вопрос, на который он не знал ответа: почему его земляки все прощали красным и ничего не прощали белым? Думаю, сыграла свою роль историческая инерция. В период гражданской войны раскручивалась пружина ненависти, закручивавшаяся несколько веков...

Был момент, когда белое движение могло отождествить себя с крестьянским антибольшевизмом. В Самаре, захваченной Колчаком, собрался Комитет членов Учредительного собрания. В этом собрании преобладали эсеры. В 1917 г. левые эсеры поддержали большевиков, правое большинство заняло резко антибольшевистскую позицию. Сотрудничество царского адмирала с террористами было нелегким, но оно открывало огромные

перспективы. Колчак этих перспектив не почувствовал, он приказал разогнать Комитет. И тут случилось непоправимое.

Офицеры, для которых все социалисты были на одно лицо, перекололи и изрубили шашками эсеров, своих союзников. Колчак не решился никого привлечь к ответственности. Тогда эсеры, только что застрелившие Володарского и Урицкого, ранившие Ленина, заключили мир с большевикам, и белые части, находившиеся под их влиянием, открыли красным фронт. А при попытке Колчака провести мобилизацию начались восстания. Крестьяне упорно защищали свой нейтралитет в гражданской войне. В конце концов, совет рабочих депутатов Иркутска не пропускал эшелонов, двигавшихся к Владивостоку, пока командование чехословацкого корпуса не выдаст Колчака.

Его выдали, и бывшие союзники Колчака, заседавшие в Совете, судили его и расстреляли. Это была расплата за резню в Самаре. Разрушив союз с эсерами, колчаковцы сами себя изолировали и обрекли на гибель. Была ли эта гибель неизбежной? Политический гений, наподобие Бонапарта, справился бы с этой ситуацией. Но политических гениев царская Россия не вырастила. Так же, как не вырастила брежневская Россия, и некому было вести «перестройку».

Мудрено ли, что в состязании красного террора с белым нейтралитет стал выбором таких людей, как Короленко, Волошин? Мудрено ли, что после Ивана IV и Петра I в революционном хаосе победил самодержавный утопизм? Мудрено ли, что завершением его стал деспотизм Сталина? И в 1941–45 годах мы встали перед выбором: или Гитлер, или Сталин? И генерал Деникин обратился к Сталину с просьбой – принять его в советскую армию, хотя бы рядовым – защищать родину? Если Брусилов конформист, то не был ли конформистом Деникин? Или в обоих победил патриотизм русского воина – защищать Россию Грозного с его опричниной, защищать Россию ленинского красного террора, Россию сталинского террора против всех и каждого, но Россию?

Часть 2

Из остальных тем, поднятых о. Георгием, мне хочется разобрать только одну, действительно запретную, и не потому, что ее кто-то запретил, а по внутреннему запрету. Очень трудно оценить мученический конец Власова и его сподвижников, никак не вяжется это с оценкой движения, почти целиком (до 1945 г.) оставшегося на бумаге. Если не считать боя с эсесовским гарнизоном Праги, о котором мне по свежим следам рассказал чешский мальчик, волнуясь за судьбу своих освободителей.

Власов в 1941 году защищал Киев и оставил его после запоздалого сталинского приказа «отступить». В декабре он разделил с Рокоссовским славу первой победы в великой войне и был назначен заместителем командующего фронтом. Задачей был прорыв к блокированному Ленинграду. Но зима кончалась. Уже в феврале засияло теплое солнце, и на небе – ни одного нашего самолета. Только танец юнкеров, только траектории бомб. Наш ополченский полк ночью взял деревню Павловка, к югу от Ильменя, а днем мы стали мясом для немецкой мясорубки. После первого, легкого ранения, я пошел на перевязку. Шел во весь рост, среди разрывов мин, падавших без остановки, когда прерывался танец юнкеров. Хотелось запомнить белое снежное поле с частыми розовыми пятнами. Потом мне в тот же день прибавили покрепче и контузили. В эвакогоспитале, куда в конце концов я был доставлен, раненые солдаты вынесли единодушный приговор сталинской стратегии: не война, а одно убийство.

Несколько дальше к северу немцы, обескровив наши части, рвавшие к Ленинграду, окружили их. Власов решился на отчаянный шаг: перелетел в кольцо, перестроил боеспособные части и прорвал окружение. Надо было воспользоваться успехом и выходить из мешка. Но Сталин приказал наступать – то есть лезть в мешок поглубже. Потом в мешок влез весь наш южный фронт и дал немцам выйти к Волге и к Эльбрусу. Маршала Шапошникова, советовавшего с весны перейти к стратегической обороне, Сталин снял с поста.

Вероятно, он снял бы и Власова, если бы тот ему перечил. Видимо, Власов на это не решился. Единственное, что он мог сделать – и сделал – это остаться со своим авангардом, не возвращаться на командный пункт. Второе окружение прорвать не удалось. Немцы крошили наши части, загоняли в болото и брали в плен.

Я представляю себе, как Власов, прячась в лесной избушке, проклинал Сталина, никогда не побывавшего на переднем крае, уничтожившего 80% высшего командного состава во время Большого террора, никого не слушавшего и всем командовавшего. В состоянии судорог ненависти Власов обнаружил немецкий патруль. И вырвался его крик «не стреляйте!»

Остальное вытекало из добровольной сдачи в плен. Дальше пошли надежды на невозможное, невыполнимые планы, попытки сохранить независимость, раздражавшие Гитлера, и в конце концов марш на Запад. Освободив чешскую столицу, власовцы на авось ушли в американскую зону, откуда их выдали на расправу².

Все декларации и воззвания, которые Власов издавал в своем межеумочном положении – бумажный хлам истории. Но достойно памяти решение выдержать любые пытки, но не играть жалкую роль на процессе. Это решение удалось выполнить. Ни одной пытки не сломили. Что давало «изменникам Родины» силы? Это загадка, которую никто пока не решил, и я приступаю к ней с чувством риска.

Перечислим возможные факторы. Верность своим воззваниям и декларациям? Не думаю. Все эти бумаги создавались задним числом. Решало другое: невозможность простить Сталину его безжалостный, бесчеловечный, демонический стиль правления. В Бутырской тюрьме я играл в шашки с «изменником родины». Измена его состояла в том, что он возобновил занятия в сельской школе при немцах. Этот человек мне нравился: твердый, подтянутый, бодрый. Однажды я вполголоса спросил его: что определило ваш выбор? Он

² Во время войны слово «власовец» прилипло к «добровольным помощникам», Hilfswillige, служившим в немецких частях за миску каши. Ничего общего с Власовым у них не было.

так же коротко ответил: «Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Власов тоже не мог простить.

Власовское сознание сложилось в первый период войны, когда один наш разгром следовал за другим. На это наслаивалась память о прошлых увечьях, нанесенных стране: уничтожение деревни, расстрел высшего комсостава, уничтожение конструкторов, создающих новое оружие. В лагере это сознание закапсулировалось. Между тем, победы Гитлера завязли в русских просторах. Заводы, эвакуированные в Сибирь, стали работать. А мы, ополченцы, понемногу чему-то научились. Военная пресса тогда тиражировала поговорку: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Учился и я, на своей собственной шкуре, и Сталин, на миллионах наших пробитых шкур, кое-чему выучился, стал прислушиваться к опытным генералам, и тень наших побед накрыла грехи генералиссимуса. Власовцы жили в прошлом, в трагических поражениях, загнавших храбрых солдат в плен, и сердце их жгло то, что когда-то называли «пеплом Клааса». Мученичество в застенках было чем-то вроде писем Курбского или молчания Васьки Шибанова, передавшего царю письмо. Грозный читал письмо, воткнув посох в ногу гонца. Гонец молчал.

Власовцам предлагали 25 лет лагерей или, на худой конец, легкую смерть – они отказались. Им дали подумать, подсаживали в камеры бывших сослуживцев, уговорить на капитуляцию (об этом, со слов подсаженного, писал впоследствии Григоренко) – они отвечали, что боятся пыток, но ненависть к Сталину сильнее страха. И власовцы выбрали муки, как бессловесное письмо, посланное нам, современникам В.В.Путина, чтобы мы расслышали их «глухие проклятья». Что потом делать – они не знали. Многие проклятья – соловецкие, воркутинские, колымские – дошли до нас – и не поколебали рабской любви к Сталину. Но если и эти, молчаливые проклятья не переполнят чашу, – то есть ли она вообще, народная совесть? И не падут ли на наши головы проклятья, от которых мы отмываем тень Сталина, и не потянут ли Россию на дно? Пожалуй, в напоминании об этом – главный положительный итог книги Митрофанова, при всех недостатках, которые я пытался разъяснить.